
Кира Си
Шёлк и пепел
«Дом без окон»
18+

Кира Си

Шёлк и пепел «Дом без окон»

https://litres.ru/74717453
SelfPub; 2026

Аннотация

Дамиан увозит Веру в дом на обрыве, где окна со стороны моря заложены кирпичом. Здесь заключают сделки. Здесь же исчезают те, кто слышал лишнее. Вере отдают ключ от комнаты и не отдают ключ от выхода.

В восточном крыле она находит кабинет своего отца, будто тот вышел только вчера. Старые бумаги объясняют, почему порт ждал именно её. Страх и желание перестают быть разными вещами, а дом слушает даже шёпот. Чтобы выйти из него, мало открыть дверь. Дом отпускает только тех, кого сам решает отпустить.

Содержание

Глава 1. Кирпич вместо стекла 4
Глава 2. Правила дома 12
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Шёлк и пепел «Дом без окон»

Глава 1. Кирпич вместо стекла

Он приехал не ночью. На рассвете, когда дождь уже не бил, а тёр жесть, и гостиница делала вид, что не слышала чужой крови на кафеле.

Вера не спала. Лента на запястье высохла плохо: чёрная, тяжёлая, без блеска, как пепел, который забыли стряхнуть. Папку она собрала до стука. Клятву не вынимала из подклада. Если дом, куда её везут, умеет читать бумагу раньше хозяйки, пусть сначала ошибётся и возьмёт протокол.

Стул она убрала от двери сама. Это было единственное, что ещё можно было назвать своим утром.

— Паром отошёл пустой, — сказал он в коридоре. Руки чистые. Пальто сухое. Лицо такое, будто ночь с тазом ему не принадлежала. — Двое у сходни простояли до гудка и ушли не курить. Вас не было. Значит, сегодня вас будут искать не на воде. В номерах. Я не оставлю носителя там, где китель уже умеет ложиться на пол.

— Я не просила увозить.

— Вы просили не путать весть со спасением. Я и не путаю. Садитесь. Дорога короче, если не спорить с обрывом.

Машина шла не к клубу и не к северным воротам. Вверх, туда, где порт становится серым ребром и море перестаёт быть улицей. Вера считала повороты. Три, где можно развернуться. Один, где уже нельзя: колея ушла в глину, и позади не осталось чужого света. Он не закрыл её дверь на замок. Этого хватило, чтобы злость сидела ровно, а не билась.

Дом показался не фасадом. Спиной.

Со стороны моря он был глухой. Длинный, низкий, вросший в обрыв так, будто его не строили, а перестали сносить. Окна, которые должны были держать воду и небо, стояли заложенные. Кирпич к кирпичу, старый, темнее стены, со швами, где раствор выкрошился и его не стали жалеть заново. Ни форточки, ни щели, ни той честной бумаги, какой он заклеил кабинет над причалом. Здесь не прятали вид на ночь. Здесь отняли стекло, чтобы с воды нельзя было прочитать, кто ходит внутри.

С земли дом ещё притворялся жильём. Узкие окна во двор. Дверь дубовая, без вывески. Фонарь не горел: рассвет и так выдавал слишком много.

— Сделки, — сказал он, прежде чем она спросила. — И те, кто слышал больше, чем купил. С воды это не должно иметь лица. Кирпич дешевле клятвы и молчит дольше людей.

— Вы держите их здесь.

— Я держу дом. Дом держит остальных. Не путайте, пока не войдёте. Внутри слова садятся иначе.

Дверь открыли до стука. Не он. Женщина в тёмном, с ключами на поясе, старыми, не парадными. Она взяла его пальто и не подняла глаз. Вера протянула своё. Руки женщины остановились на вешалке на полвздоха, не на ткани. Взгляд скользнул по запястью, по ленте, по пальцам, которыми Вера всё ещё держала папку, и не дошёл до лица. Специально. Как не доходят до огня, если велено не подтверждать, что он есть.

Внутри пахло не морем. Старым шёлком.

Не её лентой, не клубным теплом. Сухой, лежалой сладостью ткани, которую годами хранят в темноте: шкафы, подклад, чехлы, чужие узлы, снятые и не сожжённые. Под этим соль, известь и холод кирпича. Тишина была не пустая. Она стояла в коридоре, как мебель. Где-то капнула вода в таз. Ни музыки, ни голосов, ни того шума, каким клуб притворяется пустым.

Мужчина у внутренней двери смотрел в пол. Моложе. Тоже не в глаза. Когда Вера нарочно замедлила шаг, он отступил в сторону, не встретившись. Слуги здесь не служили взглядом. Взгляд был бы свидетельством, а дом, судя по кирпичу, свидетелей не любил.

— Они всегда так? — спросила она.

— Они так с теми, кого дом ещё не отпустил и уже не считает гостем. Смотреть в глаза значит признать, что вы можете уйти и рассказать, какого цвета здесь утро. Им платят за другое.

Коридор вёл мимо залы, где стоял длинный стол. Стулья с одной стороны. С другой кирпичная стена вместо окон, и на ней, если присмотреться, ряды кладки читались сквозь тонкую штукатурку, как рёбра. Сделок за столом сейчас не было. Остались кольца от стаканов и одна лента, не её, аккуратно смотанная у чернильницы. Чёрная. Старее.

Вера остановилась.

— Это метка или память?

— И то и другое, если воск не обновляли. Не трогайте. В этом доме чужой шёлк кусается не запястье. Имя.

Лестница вниз уходила без ковра. Она насчитала шесть видимых ступеней и дверь внизу, обитую так же, как кабинет над водой: не для тепла. Для дыхания. Ключа в скважине не было. С её стороны скважины, может, не было тоже. Он проследил её взгляд и не стал врать ласково.

— Не ваше. Туда не носят чай. Туда носят тех, кто услышал имя и не купил молчание. Вы пока наверху. Пока.

— Пока я полезный носитель.

— Пока вы живая. Не требуйте от меня синонимов с порога.

Её комната была в торце, над обрывом и всё равно без моря. Узкая кровать, стол, лампа, кувшин. Окно на двор есть. Окно на воду было окном только по памяти проёма: внутри тот же кирпич, не скрытый до конца, холодный, с высолом по шву. Вера положила ладонь на кладку. Стекло не ответило. Ответил камень. Где-то за ним ходила вода, глухо, без

права войти.

Он не переступил порог. Протянул ключ на ладони. Один. Железный, короткий, с потёртой бородкой. Не шёлк. Вещь, которой можно запереться, и нельзя открыть дом.

— От этой комнаты. Изнутри. Если захотите, чтобы я не входил без слова, повернёте сами. Я не заберу его обратно и не велю вынуть замок. Это не милость. Это единственная дверь, которую я ещё могу отдать вам лично.

Вера взяла ключ. Тяжёлый не по размеру. На ладони остался холодок, и лента рядом с ним казалась мягкой ложью.

— А от выхода?

Он не полез в карман. Не сделал вид, что забыл.

— Нет.

— В гостинице я запирала себя сама.

— В гостинице вас уже нашли чужие руки. Здесь выход не на вашем ключе. Наружная дверь держится с той стороны, где стоят мои. Калитка на обрыв закрыта не от вас. От воды и от тех, кто читает окна с катера. Если отдам вам этот ключ, я отдам им маршрут. Дом без окон отпускает не по железу. По решению. Тех, кого отпускает. Остальных кормит, поит и не показывает морю.

— Значит, я пленница.

— Значит, вы носитель в доме, где плен и покровительство носят одну кладку. Я предупреждал на подоконнике: сказанное ищут по стенам. Здесь стены кирпичные. Им не

нужно подслушивать. Им достаточно не выпускать.

Она смотрела ему в лицо, потому что слуги не смотрели в её. Живая злость на месте, только приглушённая домом, как лампа приглушает порт. Он не поцеловал. Не поправил ленту. Не назвал это ничем. От этого «ничего» стало опаснее: его больше не требовалось произносить, чтобы оно работало.

— Если я крикну?

— Услышат. Не выйдут, пока я не скажу. Кричать здесь умеют и те, кого держат внизу. Дом не путает голос с приказом.

— А если сниму ленту?

— Мои перестанут читать вас как неприкосновенную. Старшие не перестанут читать как носителя. Вы останетесь между кладкой и водой, только без чёрной полосы. Я не советую проверять это в первую ночь. И не потому, что люблю приказы.

В коридоре, не входя, стояла женщина с ключами. Глаза всё так же в пол. Но когда Дамиан назвал Веру по имени, только по имени, без дела и без «адвокат», пальцы на связке дрогнули. Один ключ стукнул о другой, тихо, виновно. Женщина открыла рот. Не на него. На воздух рядом с Вериным плечом, будто там стоял ещё кто-то, кого дом помнил лучше, чем гостью.

— Простите, — сказала она в пол. — Рука. Я думала…

— Не ей, — оборвал он. Не громко. Так, что слово легло

в шёлковый воздух и не дало взойти следующему. — Чай в комнату. Ужин позже. Глаза где были.

Женщина ушла. Ключи больше не звенели. Вера смотрела ей в спину и чувствовала, как дом, ещё не назвав фамилии, уже ошибся в её пользу. Или не ошибся.

— Что она хотела сказать?

— Дом старый. Он путает живых с теми, кого когда-то провёл по этому коридору и выпустил. Не сейчас.

— Чью руку она увидела?

— Вашу. Этого достаточно, чтобы вы запирались изнутри, а не искали её связку. — Он отступил на шаг, возвращая порог ей. — Ужин принесут. Вниз не ходите. К кирпичу можете стоять сколько хотите: море вас оттуда не узнает. Это и есть цена комнаты.

— Вы останетесь в доме?

— Я останусь между вашей дверью и той, что без ключа с вашей стороны. Не у кровати. Не путайте. Если ночью услышите, что внизу моют пол, не открывайте. Пол моют не от вашей грязи.

Он ушёл, не забрав тишину. Вера закрыла дверь. Ключ повернулся туго, по-настоящему. Засов сел. Четыре шага от кровати до двери, если бежать. До выхода она шагов не насчитала: выхода в этой арифметике не было.

Она снова положила ладонь на кирпич. Холод прошёл сквозь ленту, которой она не коснулась, и шёлк, высохший пеплом, не согрел камень. Где-то за кладкой вода знала дом

лучше, чем Вера знала собственную руку, на которую здесь уже посмотрели не так.

В коридоре пахло старым шёлком. Внизу, за дверью без скважины, кто-то не кричал. Молчал слишком правильно для пустой комнаты.

Вера не вынула ключ из замка. Пусть торчит изнутри. Пусть хотя бы эта дверь помнит, с какой стороны сегодня её страх.

Дом помнил другое. Она ещё не знала фамилию, которую он едва не произнёс. Но железо на ладони было одно, а второе ей не отдали.

И море за кирпичом ходило вслепую, как ходят те, кому не показывают лиц.

Глава 2. Правила дома

Правила ей сказали не ночью. Днём, когда дом притворяется, что в нём можно есть.

Стол в зале был длиннее, чем на двоих. Вера села не в торец. С краю, спиной к двери, которой не было: за спиной стояла кладка, и сквозь тонкую штукатурку кирпич всё равно читался рёбрами. Дамиан сел напротив, не во главе. Между ними хлеб, чай, соль в открытой солонке. Нож один, ближе к нему. Она это отметила и не попросила второй.

Женщина с ключами поставила чашки и осталась у стены. Глаза в пол. Связка не звенела: ключи придержали ладонью, как придерживают собаку, которая узнала чужого раньше хозяина.

— В этом доме три вещи нельзя, — сказал он. Не понизив голоса. Служанка должна была слышать. — Восточное крыло не открывать. О подвале не спрашивать. Имя врага при них не произносить. Ни полностью, ни по первой букве, если хотите, чтобы пол под чашкой остался полом.

Вера посмотрела на женщину. Та не подняла лица. Чай в чашке дрожал не от руки Веры.

— Если нарушу?

— Дом нарушает в ответ. Не я. Я могу запереть вас в комнате, которую уже отдал. Дом запирает иначе: перестаёт отличать гостью от тех, кого кормят внизу. — Он не улыбнул-

ся. — Первое вам захочется сделать из любопытства. Второе из профессии. Третье из злости, когда слуга сделает вид, что не расслышал. Злость здесь дороже любопытства. Не платите ей при свидетелях.

— А без свидетелей имя можно?

— Можно. Стены всё равно старые. Они слышали его раньше, чем вы. Им не нужно, чтобы вы подтвердили, что оно ещё живое.

Женщина убрала пустой поднос. Уходя, опять скользнула взглядом по Вереной руке, по ленте под манжетой, и остановилась на пальцах, которыми Вера держала чашку. Не на лице. На том, как локоть прижат к ребру, где в пальто, если бы пальто было на ней, лежала бы чужая печать. Пальто висело в комнате. Дом, кажется, помнил карман и без ткани.

— Простите, — сказала женщина полу. — Чай крепкий. Я думала, вам как…

— Как наливают всем, — оборвал Дамиан. — Идите.

Она ушла. Ключ о ключ всё-таки стукнул за дверью, один раз, виновато.

— Чью руку она снова увидела? — спросила Вера.

— Не спрашивайте слуг о том, что они чуть не сказали. Это четвёртый запрет, я его не объявлял, потому что хватает трёх. — Он отодвинул свою чашку нетронутой. — До заката я буду между вашей дверью и нижней. Не в восточном крыле. Туда я не хожу при них и не хочу, чтобы ходили вы. Если услышите, что внизу двигают железо, это не к вам. Не

выходите считать.

— Я считаю двери. Не железо.

— Здесь железо и есть дверь.

Он встал. Не поцеловал. Не поправил ленту. У порога залы остановился, будто правило надо было оставить на столе вместе с солью.

— Ключ от вашей комнаты не от крыла. Не тратьте его в чужих скважинах. Бородка соврёт, замок запомнит.

После полудня дом стал тише обеда. Тишина легла на ковры и на места, где ковров не было. Вера заперла комнату изнутри, постояла у кирпича, пока ладонь не заныла от холода, и отперла снова. Сидеть в отданной клетке и называть это послушанием она не собиралась. Папку не взяла. Клятву оставила в подкладе пальто, на крюке. Если крыло читает бумагу, пусть сначала прочитает пустые руки.

Коридор от её двери вёл налево, к лестнице без ковра, и направо, туда, где свет из дворового окна ложился на пол короткой рыжей полосой. Восток был справа. Она поняла это по солнцу, не по табличке. Табличек дом не держал. Кто не знает, куда нельзя, тот уже опоздал спросить.

Полоса к закату станет короче. Вера пошла по ней, пока та ещё доставала до поворота.

Восточное крыло не пряталось. Дверь в конце была дубовая, как наружная, только уже, и без обивки. Скважина есть. Ключа нет. Ручка не в пыли. Это было хуже пыли: ручку трогали, протирали и не запирали. Запрет висел на слове, не на

железе. Дамиан знал, чем её брать. Железо она умела обходить счётом. Слово, которое нельзя, она обходила хуже.

Она постояла, считая. Четыре шага назад до поворота, где ещё можно сделать вид, что искала уборную. Шесть вперёд, если бежать и не оглядываться на слугу, которого нет. Внизу, далеко, лязгнуло что-то о камень. Не к ней. Он предупредил. Она всё равно замерла, пока лязг не стал водой в тазу, а не шагом.

Потом нажала ручку.

Дверь подалась без скрипа. За ней пахло не подвалом. Табаком, который выкурили много лет назад и не выветрили, бумагой, сургучом, кожей переплётов. И старым шёлком, тем самым, каким дышал весь дом, только здесь он был не в шкафу. В кресле. Тёмная шаль перекинута через спинку, не женская. Мужская, адвокатская, какую носят не для тепла, а чтобы в чужом кабинете не садиться в чужое пальто.

Вера шагнула и закрыла за собой не до конца. Щель в ладонь. Привычка, уже не спасавшая, но руки помнили лучше головы.

Кабинет был законсервирован.

Не как склад. Как будто человек встал из-за стола вчера и не вернулся к ужину. Шторы на узком дворовом окне отдёрнуты ровно настолько, чтобы на зелёное сукно легла полоса. Пепельница с одним окурком, пепел цел, не рассыпан. Чернильница закрыта. Ручка поперёк бювара, перо в ту сторону, куда кладёт левша, если его отвлекли на полуслове. Очки.

Не в футляре. На раскрытом кодексе, дужками вверх, и на дужке тонкая трещина, заклеенная когда-то спичкой и терпением. Вера узнала трещину раньше, чем фамилию.

В детстве она крутила эти дужки, пока он не шлёпал её по пальцам чернильным ногтем и говорил: не тронь, это единственное, что в порту ещё видит закон.

Она не тронула.

На столе, лицом к креслу, а не к двери, стояла табличка. Не золото. Латунь, потемневшая по краю, буквы протёрты пальцами тех, кто годы не смел переставить.

Л. С. Савельев.

Адвокат.

Дом не перепутал руку.

Вера села не в его кресло. На край стула для посетителей, того, что ниже, с продавленным сиденьем. Колени вдруг стали чужими. Лента на запястье потемнела ещё в гостинице, а здесь, в этом воздухе, казалась неуместной до стыда: чужой узел в комнате, где её отец оставлял перо по-левшацки и верил, что очки можно починить спичкой.

Она помнила его мёртвым иначе. Столица, короткая телеграмма, гроб закрытый, потому что «дорога и вода не щадят лица». Ей было семнадцать. Фамилию после этого она носила как чужую вывеску и в портовых делах не писала полностью, если можно было обойтись «В. Савельева, коллегия». Город, который утопил отца, не заслуживал полного имени

на полях. Она думала, его кабинет разобрали, книги сдали, шаль выкинули. Кабинеты не стоят над обрывом, за кирпичом, с одним окурком, который никто не вытряхнул.

Значит, его не разобрали. Его законсервировали. Как держат тех, кто слишком много слышал, только стол не моют, а сохраняют.

В ящике, не запертом, лежала папка без номера суда. Картон портовый, серый, тот же сорт, что клятва Ильи. На корешке карандашом, его рукой, твёрдой, с нажимом человека, который метил не прошения, а риск:

«Вывести. Не называть в доме. Если жив — война уже началась. Если мёртв — тем более.»

Внутри не было полного имени. Был обрывок защиты: «мой доверитель не подписывал сходню», «жетон не есть лицо», «прошу считать удар отведённым». И внизу, отдельно, строка, которую он не вшил в прошение. Для себя.

«Я вывел его из-под удара. Город этого не простит. Вере этот город не оставлять.»

Вера закрыла папку. Руки были сухие и всё равно не слушались углов. Он оставил ей запрет раньше Дамиана. Не открывать. Не оставаться. Она нарушила оба, только чужой запрет услышала сегодня, а отцовский прочла, когда уже сидела в его стуле для чужих.

За окном полоса на сукне стала короче и краснее. До заката оставалось немного. Она успела. Это не было победой.

На бюваре, под промокашкой, белел угол бумаги, не его

плотной. Тонкий лист, волнистый от влаги. Она вытянула его не до конца. Хватило обода. Сургуч, треснувший, обновлённый по краю более свежим воском. Косой столб. Ракита. Буквы, которые в этом доме нельзя было произносить при слугах, здесь лежали мёртвым оттиском на столе мёртвого адвоката.

Печать врага. В кабинете отца. Не как трофей. Как вещь, которую положили недавно: пыли на листе меньше, чем на очках. Кто-то входил в консервацию после того, как её запечатали годами. Клал чужую клятву на его бювар. Ждал, пока носительница дойдёт сама, до заката, потому что запрет для таких, как она, работает лучше ключа.

В коридоре скрипнула половица. Не внизу. Здесь. Вера не спрятала лист. Прятать в этом кабинете было уже поздно: она дышала в нём, и воздух сдвинулся.

Дверь открыли на ту ладонь, которую она оставила.

Дамиан не вошёл сразу. Посмотрел на щель, на её руки, на табличку, на очки, которых она не коснулась. Лицо не удивилось. Удивиться значило бы признать, что крыло для него тоже закрыто.

— До заката, — сказал он. — Я ставил на утро. Вы быстрее своего отца. Он хотя бы сначала спрашивал, чья дверь.

— Вы знали, что это его.

— Дом знал по вашей руке раньше, чем я решил вас везти. Женщина наливала чай не мне. Ему. Он держал чашку так же, локтем к ребру, будто под пиджаком всегда была чужая

бумага. — Дамиан наконец шагнул внутрь. Шаль на кресле он не поправил. Чужого шёлка не касался. — Я запретил крыло не чтобы спрятать стол. Чтобы вы не сели сюда, пока ещё можете называть себя гостьей. Теперь не можете. Кто сел в его кабинете, тот для кладки уже Савельева. Не адвокат по делу Грекова. Дочь человека, который вывел из-под удара того, из-за кого порт до сих пор режется.

— Кого он вывел?

— Имя. Не здесь. Даже без слуг. Лист на бюваре и так слишком громкий. — Он смотрел на сургуч, не на неё. Живая злость была тихой, старой, не на её непослушание. На стол, который пережил хозяина. — Второе правило и третье вы ещё не сломали. Не просите подвал глазами. Не произносите. Если произнесёте в этом кресле, дом решит, что консервация кончилась и можно звать живых по фамилии мёртвых.

Вера встала. Стул для посетителей тихо вернул её вес. За окном рыжая полоса погасла на половине сукна. Закат прошёл без стекла на море, по-дворовому, узко, как всё в этом доме, что ещё имело право на свет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.